



**Василий Иванович АБАЕВ** (осет. Абайты Иваны фырт Васо; 2 (15) декабря 1900, селение Коби, Тифлисская губерния – 18 марта 2001, Москва) – выдающийся советский и российский филолог, языковед-иранист; доктор филологических наук (1962), педагог, профессор; первый лауреат Государственной премии им. К.Л. Хетагурова Северной Осетии (1966), действительный член Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии (1966), член-корреспондент Финно-Угорского общества в Хельсинки (1973), заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР (1981); автор известных трудов по общему и сравнительному языкознанию («Отражение работы сознания в лексико-семантической системе языка», «История языка и история народа», «Скифо-европейские изоглоссы»), фольклористике («О собственных именах Нартовского эпоса», «Нартовский эпос осетин»), фундаментального «Историко-этимологического словаря осетинского языка» и др. работ, оказавших большое влияние на развитие отечественной культуры, филологии и гуманитарных наук в целом.

Публикуемый ниже материал является фрагментом обширной статьи «Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке» (1965), в которой В.И. Абаев предстает не только лингвистом, но и ученым-гуманитарием с подлинно философским осмыслением явлений действительности, в том числе и прежде всего – тенденций развития отечественной науки. Статья вызвала неоднозначное восприятие (см., напр.: Кузнецов П.С. Еще о гуманизме и дегуманизации // Вопросы языкознания, 1966, № 4, стр. 62–74). Однако современное положение вещей в гуманитарных науках выявляет правоту В.И. Абаева: проблемы, по поводу которых ученый в свое время выражал тревогу, сегодня приобретают едва ли не экзистенциальную остроту.

**В.И. Абаев**

## ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ КАК ДЕГУМАНИЗАЦИЯ НАУКИ О ЯЗЫКЕ (фрагменты)

<...> В модернистские эпохи получает большое распространение одна опасная душевная болезнь: боязнь показаться отсталым. Особенно страдают от нее модные девицы. Не успеешь, скажем, освоить прическу «я у мамы дурочка», как надо уже переключаться на «конский хвост», потом на «копну» и т. д.

Или взять танцы. Только успела втянуться в румбу, как надо переходить на самбу; освоила самбу, а тут узнает, что «там» уже танцуют рок-н-ролл, потом твист и т. д.

Грустно, что эта болезнь поражает не только молодых девиц, но и солидных ученых, в том числе и языковедов. В лингвистике есть свои румбы и самбы, т. е. в общем модернистском потоке то и дело появляются какие-нибудь новые течения и завихрения. И некоторые ученые ужасно боятся отстать от этих завихрений.

Что же такое отсталость? Что такое традиционность и новаторство?

Романы М.А. Шолохова, если подойти к ним с меркой модернистской литературы, представляют верх старомодности и отсталости. И однако же мы не стыдимся, а гордимся тем, что у нас есть такой писатель, как Шолохов. Мы гордимся тем, что Шолохов вместо того, чтобы бежать вдогонку за европейско-американскими сюрреалистами, экзистенциалистами и абстракционистами, спокойно и уверенно продолжает традиции классической русской литературы XIX в.

Наши биологи не стыдятся называть себя учениками Дарвина, а наши социологи – учениками Маркса, ученых XIX в.

Таковы некоторые образцы *традиции*.

О таких традициях мы можем, не боясь обвинения в отсталости, сказать в полный голос: да, это – традиционное и потому передовое.

Теперь посмотрим, что такое *новаторство*.

Родоначальник структурализма Соссюр писал: «Лингвистика слишком большое место уделяет истории; теперь ей предстоит вернуться к статической точке зрения традиционной грамматики». Вернуться к статической грамматике Пор-Рояля, т. е. к XVII в. – вот, оказывается, сущность соссюрковского новаторства. Правда, статический формализм пор-рояльских ученых был вынужденный – ведь они не имели еще понятия об историческом, т. е. подлинно научном языкознании. Отсюда «казуистика и произвольность, порождаемые отсутствием исторического основания» (Энгельс). У Соссюра же и его последователей формализм сознательный, принципиальный.

Идея историзма, совершившая революцию в науке XIX в. на высшем подъеме буржуазного общества, стала бельмом на глазу на закате этого общества. Против историзма, за возврат к миропониманию до XIX в. ратуют философы и социологи, историки культуры и лингвисты.

Мы уже приводили суждение философа Бен-

нета и лингвиста Брёндаля. Фольклорист А. Ван-Женнеп заявляет: «Фольклор не есть часть истории – мы только теперь постепенно исцеляемся от мании историзма XIX в.»<sup>1</sup>

Итак, новаторство в понимании современного модернизма состоит главным образом в возвращении к воззрениям до XIX в.

Сосюр мог бы указать, как на образец, не только на французскую грамматику XVII в., но и на санскритскую грамматику Панини IV в. до нашей эры: это отличный пример «статической точки зрения».

Подобные казусы нередко случаются с модернистами: думает, что шагнул на 100 лет вперед, а на проверку оказывается, что вернулся на несколько тысяч лет назад. Рецидив пифагорейского увлечения математикой – явление того же порядка.

Известно, что некоторые модернистские художники открыто или втайне подражают рисункам палеолитического человека. По их мнению, палеолитическое – это и есть современное<sup>2</sup>.

Известно также, что современная джазовая музыка выросла на ритме и интонациях примитивных негритянских мелодий.

Такова истинная цена модернистского новаторства.

Сплошь и рядом модернистское «новаторство» сводится к мыльным пузырям новой терминологии. Мания терминотворчества – характерная черта модернизма.

Давно известные вещи, облаченные в пестрый наряд самосильно придуманных или притянутых из другой области псевдонаучных терминов, преподносятся как открытие или новый подход. Таким приемом старая телега выдается за ультрасовременную ракету. Убожество «плана содержания» модернист тщится замаскировать рассчитанной на эффект новизны «плана выражения». Этой цели служит как заумная терминология, так и математический аппарат, или комбинация того и другого. Модернизм насаждает «недоверие к ясности и простоте... Поражаешься, какое пустословие можно выдавать за науку» (Л. Понтрягин. О математике и качестве ее преподавания. «Коммунист», сентябрь 1980, с. 101).

Выставляя себя носителем «последнего слова», будь то в искусстве или науке, модернизм в борьбе с противниками прибегает всегда к одному и тому же приему: пытается третировать их как «отсталых», «ретроградов», «рутинеров», «консерваторов» и т. п. Не будем бояться этих слов. Отстаивая позиции реализма против декадентства, В.В. Стасов писал: «Нас хотят пере-

крестить в новую веру по части искусства! Кто хочет? Зачем хочет? Хотят декаденты... Они затеяли декадентский журнал издавать и, в виде программы, заблаговременно объявляли в печати: «Мы (русские) представляемся в Европе чем-то устаревшим и заснувшим на отживших преданиях»... У нас нашлись люди, которые перепугались «страшных» слов, пришли в ужас от боязни попасть впросак, попасть не в такт, что-то исповедовать «вопреки Европе», наперекор тому, что в хороших местах, у бар, делается»<sup>3</sup>.

А. Швейцер («Культура и этика». М., 1973, с. 216) писал о Гете: «Его величие в том, что он в эпоху абстрактного и спекулятивного мышления имел смелость оставаться элементарным».

Истинное новаторство органически вырастает из предшествующего развития и потому никогда не выпячивает и не афиширует свой новаторский характер<sup>4</sup>. <...> Модернистское «новаторство» – всегда умышленное, нарочитое, и поэтому оно оказывается иллюзорным и эфемерным. От традиции такое «новаторство» отличается, главным образом, тем, что быстрее устаревают.

<...> Советское теоретическое языкознание переживает ответственный момент. Создававшаяся к середине 50-х годов обстановка идейного вакуума способствовала не критическому восприятию нахлынувших с запада модернистских идей. Это был период, когда <...> многие молодые (и не только молодые) лингвисты <...> кинулись осваивать модернистские направления в лингвистике. Разумеется, советские лингвисты знакомы и со многим ценным, что создавалось за рубежом и чего мы не знали из-за нашей оторванности. Положительная сторона этого процесса состояла в том, что повышался общий уровень лингвистической грамотности. Этот уровень был в предшествующий период очень невысок. Можно было только радоваться наступившему оживлению лингвистической работы, расширению ее тематики.

Недоставало одного, но, пожалуй, самого главного: самостоятельной, прочной идейной основы, которая давала бы общее направление советскому языкознанию и определяла его лицо. В этом отношении наше языкознание оказалось безоружным и беспомощным. Ни в какой другой общественной науке не наблюдалось у нас такого идейного разброда. Лучшее представление об этом разброде дает журнал «Вопросы языкознания», по существу единственный теоретический орган советского языкознания.

У всех на памяти тот небывалый подъем интереса к вопросам языкознания, который наблю-

<sup>1</sup> A. Van-Gennepe. Le folklor. Paris, 1924, p. 32. (Ссылки и примечания сохранены в авторской редакции. – Ред.)

<sup>2</sup> Кстати, прическа «я у мамы дурочка» также ничем не отличается от палеолитических причесок.

<sup>3</sup> Стасов В.В. Нищие духом, в кн.: «Избр. соч. в трех томах», III, М., 1952, с. 232.

<sup>4</sup> Ни Маркс, ни Ленин никогда не афишировали свое новаторство. Ленин подчеркивал, что гениальность Маркса состояла в том, что он развил и поднял на новую ступень передовые идеи своих предшественников. «Его учение возникло как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма» (Ленин В. И. Соч., т. 19, с. 3).

дался у нас в период и после дискуссии 1950 г. На гребне этого подъема журнал «Вопросы языкознания» мог стать одним из самых любимых и популярных научных журналов советской интеллигенции. Для этого нужно было одно: уделять больше места проблемам, которыми живо интересуются миллионы советских людей, таким, как язык и общество, язык и история, язык и мышление, происхождение языка и начальные этапы его развития, язык как общественное сознание, историческая семасиология, вопросы субстрата и этногенеза, и другие проблемы *большой лингвистики*, т. е. лингвистики, тесно и неразрывно связанной со всеми общественными науками. Именно в разработке этих проблем выступает с неотразимой силой превосходство нашей методологии, только они могут нам обеспечить ведущее положение в мировом языкознании и сделать наш лингвистический журнал теоретическим органом прогрессивных лингвистов всего мира.

«Вопросы языкознания» стал журналом по преимуществу малой лингвистики, лингвистики «в себе и для себя».

Языкознание может быть либо очень широкой, либо очень узкой и замкнутой наукой. В первом случае оно становится одной из самых содержательных, увлекательных и популярных наук, представляющей интерес для самого широкого круга людей. Во втором случае оно лишено какого-либо интереса и значения для всех, кроме узкого круга специалистов. На страницах «Вопросов языкознания» культивировалась главным образом наука второго типа. <...>

Вопрос о «раздвоении» языкознания занимает сейчас умы многих лингвистов<sup>5</sup>. Для многих становится очевидным, что разрыв между языкознанием как общественной наукой и модернистским формализмом достиг такой степени, когда их связь становится совершенно искусственной и чисто внешней, и встает настоятельная задача: *размежевания*.

У нас этот вопрос стоит еще острее, чем на Западе, и вот почему.

Когда на Западе говорят о раздвоении языкознания, имеют в виду обычно противопоставление структурального метода сравнительно-историческому методу младограмматического толка. Сравнительно-историческое языкознание произвело в свое время переворот в науке и заслуги его колоссальны и непреходящи. Но сравнительно-историческое языкознание – это все же

скорее метод, чем мировоззрение. Этот метод, как показывает опыт младограмматической школы, отнюдь не исключает формалистического применения. Сравнительно-исторический метод, совершенствуясь и развиваясь, бесспорно останется на вооружении советской науки. Но нелепо сводить образовавшуюся трещину в нашей науке к альтернативе: за или против сравнительно-исторического языкознания. Для нас не в этом суть. Борьба идет не за сравнительно-историческое языкознание, а за человека, за человеческий фактор, за его место в создании, развитии и функционировании языка. Между сравнительно-историческим языкознанием и структурализмом нет никакого конфликта. Но есть непримиримый конфликт между гуманизацией и дегуманизацией языкознания.

<...> Слово «гуманизм», которое у нас почему-то стали употреблять в значении «гуманность» и считать моральной категорией, не имеет в действительности прямого отношения к морали и означает нечто другое: мировоззренческий принцип, проникающий в науку, искусство и всю вообще культуру. Этот принцип ставит в центр культуротворческого процесса человека. Стало быть, гуманизм – общеидеологический, а не моральный принцип.

Загадка, которую Сфинкс задал Эдипу, была о Человеке<sup>6</sup>. И на эту же загадку призвана ответить в меру своих возможностей каждая общественная наука. Эту же загадку решают, только иными средствами, литература и искусство.

Любая общественная наука, что бы она ни изучала, изучает в конечном счете человека, совершенно так же, как любое искусство, что бы оно ни изображало, изображает в конечном счете человека<sup>7</sup>. Всякая отрасль гуманитарного сектора, из которой выпадает человек, сама выпадает из гуманитарного сектора. Недаром «гуманитарный» происходит от латинского *humanus* «человеческий».

Сказанное в полной мере относится и к языкознанию. Не изгнать человеческий фактор, как рекомендуют структуралисты, а раскрыть во всей полноте его роль в языке, понимаемом и как ??? – вот высшее назначение языкознания как общественной науки.

Лет тридцать назад я пытался разграничить два аспекта языка: язык как одно из выражений общественного сознания и язык как коммуникативная техника<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Из последних работ можно назвать статью известного венгерского лингвиста Ж. Телегди (Zs. Telegdi) «Über die Entzweiung der Sprachwissenschaft» («Acta linguistica Hung.», XII, 1-2, 1962).

<sup>6</sup> Речь идет о следующем вопросе Сфинкса: «Кто утром ходит на четырех ногах, днем – на двух, а вечером – на трех?» «Ты говоришь о человеке, – ответил Эдип. – Младенцем, на рассвете своей жизни, он ползает на четвереньках. Днем, в зрелом возрасте, он ходит на двух ногах. А когда наступают сумерки его жизни, старость, берет в руки палку или костыль – это ему третья нога». (Прим. Ред.)

<sup>7</sup> Ленин хорошо показал, что переворот, совершенный Марксом в экономической науке, заключался в гуманизации этой науки: «Там, где буржуазные экономисты видели отношение вещей (обмен товара на товар), там Маркс вскрыл отношение между людьми» (соч., 19, с. 6).

<sup>8</sup> См.: «Язык как идеология и язык как техника» (сб. «Язык и мышление», 11, н., 1934, с. 33-54). Термин «идеология» здесь не точен. Правильнее говорить об общественном сознании.

Основная мысль заключалась в том, что язык, возникая как непосредственное выражение общественного сознания, со временем приобретает черты системообразной сигнальнокоммуникативной техники, не утрачивая, однако, и своей исходной функции – выражения общественного сознания.

Теория языка приобретает существенно разный характер в зависимости от того, какой из этих аспектов находится в поле зрения. На подлинную научность и универсальное значение может претендовать только такая теория языка, в основе которой лежит синтез обоих аспектов. Дать такой синтез может только историческая точка зрения.

Лингвистический модернизм есть по существу односторонний, а потому искажающий сущность предмета подход к языку в аспекте только коммуникативной техники. Пусть такой подход односторонен и ошибочен. Зато он облегчает схематизацию и формализацию языковых явлений, а это, как мы знаем, для модернизма главное.

Но гуманитарные явления, чем они более высокого класса, тем труднее поддаются формализации. Это значит, что, скажем, песенка «Чижик-пыжик» легче поддается формализации и «моделированию», чем девятая симфония Бетховена. То, что мы называем языком, включает разные классы явлений, начиная от уровня «Чижика-пыжика» и кончая уровнем девятой симфонии Бетховена. Подходить ко всем этим явлениям с одними и теми же приемами схематизации и формализации – это невежественная затея, которая ни в какой мере не приближает нас к познанию сущности языка, а лишь уводит науку о языке в сторону от своего органического окружения – от других общественных наук. Нити, связывающие это направление языкознания с другими общественными науками, становятся все более тонкими и непрочными. Не нужно особого пророческого дара, чтобы предсказать: чем больше языкознание будет формализованной наукой, тем меньше оно будет наукой гуманитарной. Формализм (как идеология) – это синоним антигуманизма.

На известной ступени формализации разрыв становится настолько глубоким, что приходится говорить уже не о двух направлениях одной науки, а о двух разных науках.

Модернистская лингвистика означает не новую ступень в эволюции языкознания, а *уничтожение* языкознания как общественной науки, совершенно так же, как модернистское искусство означает не новый этап в развитии искусства, а *уничтожение* искусства как общественной ценности.

Приходится иногда слышать призывы к сотрудничеству двух лингвистик. Эти призывы не-

достаточно продуманы. Возможно ли плодотворное сотрудничество двух наук, из которых одна исходит из других предпосылок и ставит иные цели, чем другая? Представим себе двух специалистов, которые оба изучают земной шар. Но один изучает его как место обитания человека, а другой – как геометрическое тело. Спрашивается, какой общий язык могут найти эти два специалиста?

Язык тоже можно рассматривать в двух аспектах: либо как «место обитания» человеческого духа, либо как геометрическую систему<sup>9</sup>. Что может быть между ними общего?

Что общего между музыковедом, который анализирует музыкальное произведение как явление духовной культуры, и «музыковедом», подсчитывающим, сколько раз какой клавиш ударяется при исполнении этого произведения? Зачем нужна наука дистрибуции клавишных ударов тому, кто интересуется духовным миром композитора и его эпохи?

Не всякие манипуляции, которые производятся и могут производиться над языком, могут называться наукой вообще и гуманитарной наукой в особенности.

Бывают моменты в истории науки, когда гораздо важнее и полезнее четкое противопоставление и размежевание, чем искусственное объединение. <...> Полное бесплодие проходившей у нас дискуссии о структурализме объясняется именно тем, что спорящие говорят на разных языках. Нужны не споры, а размежевание. Размежевание и проверка работой.

Изживание модернизма в нашей науке пойдет тем быстрее, чем больше свободы ему будет предоставлено и чем более законченные формы он примет. В этих условиях он быстро выскажется до дна. А дно у него неглубокое. Почему глоссематика Ельмслева так быстро сникла? Потому что, имея полную свободу «самовыражения», она могла в кратчайший срок продемонстрировать свою бесперспективность. Надо предоставить нашим модернистам такую же возможность. Всякие попытки ограничения могут внушить общественному мнению какие-то иллюзии насчет возможностей, которым не дают раскрыться. В этих условиях болезнь может затянуться.

Размежевание позволит лучше уяснить теоретические задачи советского языкознания как *общественной* науки. Говоря о перспективах нашей науки, обычно ставят «роковую» альтернативу: традиционное языкознание или структурализм. Эта альтернатива – ложная. Нам нужно не традиционное и не модернистское, а свое, советское языкознание, отвечающее мировоззрению и нуждам многонационального социалистического общества. Это не значит, что мы должны отгородиться стеной от мировой науки и от нашего соб-

<sup>9</sup> «Pour le moment, la linguistique generale m'apparait comme un systeme de geometrie» (R. Gode1, Les sources manuscrites du «Cours de linguistique generale» de F. de Saussure, Geneve – Paris, 1957, s. 30). Вопросы языкознания, 1965, № 3.

ственного прошлого. Но вполне естественно, что когда речь идет о буржуазной науке, нам ближе по духу то, что характеризовало эту науку, когда буржуазное общество переживало период высшего духовного подъема и расцвета, а не когда оно вступило в полосу идейного распада и деградации.

В то время буржуазную науку интересовали проблемы большой лингвистики: язык и мышление, язык и история. Эти проблемы и для нас остаются важнейшими. Именно в разработке этих проблем языкознание находит свое место среди общественных наук. Проблема «язык и мышление» связывает нашу науку с теорией познания и психологией, проблема «язык и история» – с социологией, историей, археологией, этнографией, фольклором.

Существует мнение, что языковед не должен заниматься этими проблемами, так как они являются «экстралингвистическими», выходят за рамки языка и таким образом нарушают его специфику. Однако возможна и иная точка зрения: нераздельное единство с мышлением и неразрывная связь с историей как раз-то и *составляют глубочайшую специфику языка*, и, стало быть, те, кто занимается языком без мышления и без истории, занимаются, в сущности, не языком, а некоей фикцией, которой не соответствует никакая объективная реальность. С этой точки зрения модернистская лингвистика – это и есть экстралингвистика, т. е. нечто, лежащее за пределами языкознания как общественной науки.

Связи языка с мышлением и историей – не выдуманные, не искусственные. Они коренятся в самой природе, в самой сущности языка. Мышление и история – это те ворота, через которые в язык властно и неудержимо входит человеческий фактор, тот самый человеческий фактор, который тщетно пытаются изгнать из него модернисты.

Модернистскому тезису об изучении языка в себе и для себя мы противопоставляем наш тезис: всякое внегуманитарное рассмотрение языка основано на игнорировании его специфики, а потому является внелингвистическим.

Некоторые «традиционные» языковеды, сбивые с толку разговорами о несовместимости «внутренней» и «внешней» лингвистики, заняли оборонительную позицию, как бы оправдываясь в том, что в их лингвистическую концепцию проник такой экстралингвистический фактор, как человек. Такая позиция – ошибочная. Гуманитарное языкознание нуждается не в обороне, а в наступлении. Речь идет о том, чтобы идейно преодолеть волну антигуманизма, которая ставит под угрозу судьбу всего гуманитарного сектора, а в более широком плане судьбу самого человечества. Кому, как не советским гуманитариям, быть в первых рядах в этом благородном споре.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что лучшие

традиции нашего отечественного языкознания связаны с большой, широкоэкранный наукой, а не узким изучением языка «в себе и для себя». Когда речь идет о проблеме «язык и мышление», достаточно вспомнить Потебню. Когда речь идет о проблеме «язык и история», достаточно называть Шахматова. Это имена, которыми по праву гордится наша наука. <...>

Было время, когда и в советском языкознании проблемы языка и мышления, языка и истории стояли в центре внимания. В их решении допускались грубые ошибки и упрощения, но в самой постановке проблем ошибки не было. В этих проблемах языкознание утверждало себя как одна из ведущих наук гуманитарного цикла. И действительно, не было такой общественной науки, которая не получала бы импульсов со стороны языкознания. Философы и психологи, историки и археологи, этнографы и фольклористы с живым интересом следили за тем, что делается в лингвистике. Со своей стороны и языковеды старались быть в курсе идей и достижений смежных общественных наук. Можно сказать без преувеличения: языкознание было в то время одной из самых популярных и влиятельных гуманитарных наук.

Эти позиции в значительной мере утрачены нашим языкознанием. Вернуть языкознанию принадлежащее ему по праву место в кругу общественных наук – вот насущная задача нашей науки.

Что этому мешает? Может быть, такие темы, как «язык и мышление», «язык и история», «язык и культура» исчерпали себя, и здесь уже нечего делать? Вряд ли кто-нибудь станет серьезно утверждать что-либо подобное. Познавательные возможности языка именно в гуманитарном плане поистине беспредельны. Многие важнейшие проблемы этого круга пока как следует даже не затронуты, например, историческая семасиология. Структурный подход даже отдаленно не затрагивает те огромные познавательные богатства, которые таятся в языке как отложении великого жизненного опыта человечества. Эти богатства ждут исследователей нового типа, вооруженных самой передовой идеологией и глубокими знаниями во всех отраслях гуманитарной науки.

Чем настойчивее мы будем разрабатывать языкознание именно как общественную науку, чем теснее мы будем смыкать его с другими гуманитарными науками, тем очевиднее будет наше преимущество, тем больше мы добьемся успехов и побед. И наоборот, если мы будем культивировать лингвистику как замкнутую в себе формалистическую дисциплину, мы растеряем все наше методологическое превосходство и будем обречены плестись в хвосте лингвистического модернизма, трусить за рысачами европейско-американского структурализма. Никаких лавров мы на этом пути не пожнем.

Отличительные черты советского теоретического языкознания, каким оно нам мыслится, всего лучше раскрываются как антипод модернизма.

Модернизм *антиисторичен*. Историзм должен пронизывать сверху донизу советское языкознание.

Модернизм во всех его разновидностях исходит из примата *формы над содержанием*. Для нас центральным в языке является содержание, *значение*. Все то в языке, что несоотносимо с понятием *значения*, не имеет познавательной ценности в гуманитарном плане.

Тот, кто из языкознания устраняет понятие значения, подобен биологу, который устранил бы из своей науки понятие «жизнь». Значение – доминанта языка.

Модернизм во всех его разновидностях формализует науку о языке и тем самым изолирует ее от других общественных наук. Мы, напротив, считаем, что наука о языке вместе с философией и другими общественными науками образует одно большое целое, одну структуру (вот где пригодилось понятие структуры!).

Эти принципы – историзм, примат значения, тесная связь со всем гуманитарным кругом – залог действительно самостоятельного развития советского языкознания и его больших побед.

Будущее советского языкознания не в его формализации, а в его *гуманизации*.

Борьба против дегуманизации культуры – одна из насущнейших задач передовой интеллигенции во всем мире. Языкознание – лишь один из участков этой борьбы. <...>

Нет речи о противопоставлении советской и несоветской науки. Борьба между гуманизмом и антигуманизмом идет повсюду. Идет она и у нас, особенно остро в двух областях: изобразительном искусстве и языкознании. В науке наступление антигуманизма находит свое выражение, в частности, в повсеместно наблюдаемой тенденции отодвинуть гуманитарные науки на второй план по сравнению с физико-техническими, или путем поверхностного, чисто формального применения математических приемов и формул уподобить их «точным» наукам и таким образом создать иллюзию «синтеза» наук, а в действительности обескровить гуманитарные науки.

Именно у нас, быть может, больше чем где-либо, антигуманизм ощущается как нечто неорганическое и чужеродное. Нет почвы для антигуманизма в стране, где властителями дум были всегда великие гуманитарии: Белинский, Герцен, Чернышевский. Нет почвы для антигуманизма в стране, которая создала самую гуманистическую литературу. Нет сомнения, что антигуманизм будет у нас преодолен и в искусстве, и в науке. Гуманитарный фронт – это, если хотите, часть экологического фронта. Речь идет о борьбе за *чистоту* на всех уровнях: воздух должен быть воздухом, вода – водой, земля – землей, живое – живым, человек – человеком.

Один и тот же враг угрожает воздуху, воде, земле, жизни, человеку.

*Публикацию подготовил д. ф. н.  
И.С. Хугаев.*

